

ИЗ ЗАПИСОК ПЕРЕВОДЧИКА ДИВИЗИОННОЙ РАЗВЕДКИ

Когда началась война, мой тесть, будущий доктор биологических наук Павел Михайлович Рафес (1903–1991), повестки военкомата не получил. Призывали родившихся с 1905 года. Павла Михайловича призвали 16 октября 1941 года, в “черный” день Москвы, когда немцы подходили к столице. По свидетельствам очевидцев, это был день безвластия: Москва была охвачена паникой, чиновничество бежало из города, а на вокзалах восточных направлений толпы обезумевших от страха москвичей штурмом брали поезда.

Между тем военная Москва делала свое дело организованно и в конце концов справилась со стихией толпы. Военкоматы работали. Колонны резервистов, будущих солдат победы маршировали на восток. В одной из таких колонн на Казань шел П. М.

Его война началась не сразу, только с весны 1943 года, но он прошел ее до конца — переводчиком полковой, а потом дивизионной разведки, хотя и не на самом “передке”, но в непосредственной близости от переднего края. Всю войну, несмотря на запрет, вел дневник. В 1976–1977 годы он перечитал свои заметки, сделанные простым карандашом, полустершиеся и не всегда разборчивые. По этим заметкам были написаны “Записки военного переводчика”.

Павел Михайлович написал большую книгу (270 страниц), которую отличает не только документальность (письма, документы, допросы). “Записки” передают живое восприятие событий, трагедию войны, метаморфозы психологии немцев, сначала — “освободителей” полумира, потом — с криками “Гитлер капут!” сдававшихся в плен. И еще: любовь автора к природе прорывается в его “Записках” сквозь кровь и грязь войны и очеловечивает войну, по сути, противную всему человеческому.

“Записки” публикуются в сокращенном виде.

1. ПО ДОРОГЕ НА ФРОНТ

У меня нет военного образования. Профессия моя — самая мирная: в 1925 году окончил Московский университет по специальности “зоология”. Сказались детское увлечение насекомыми и оставшаяся на всю жизнь большая любовь к природе. Практически занимался защитой растений, борьбой с саранчой, потом защитой леса от его врагов. Немного это похоже на войну, но совсем немножко.

Учебные сборы 30-х годов дали мне солдатскую специальность телефониста. В конце 1940-го вызвали в военкомат: “Вы имеете высшее образование. Не обладаете ли вы знаниями, достаточными для овладения военной специальностью на командирском уровне? Например, химическая борьба с вредителями леса близка к военной химии”. Поговорили. “Нет, мало общего. А иностранные языки, немецкий? Ведь вы ими пользуетесь?” Еще поговорили. Не знаком ни один термин. Так и оставили меня телефонистом.

В октябре 1941-го меня призвали, 18-го утром в составе команды в 120 человек начали марш на Владимир, Горький. Пришли в Муром. Отсюда через три дня вышли уже сводным военным батальоном численностью до 1000 человек. Дошли до Арзамаса. Немецкая авиация стала летать над железной дорогой, бомбить поезда, а заодно и колонны вроде нашей. Нас повернули в сторону от железной дороги — на Васильсурск, а оттуда на Казань. И все пешим ходом, примерно по 30 километров в день.

В те дни немцы уже всю бомбили Москву, женщины и дети эвакуировались. Многие уходили из Москвы пешком, шли рядом с нашей колонной. Запомнились встретившиеся на окраине Москвы молодой рабочий, его жена и малыш лет четырех. Отец нес увесистую корзину, у матери в руках какие-то мелочи, у малыша за плечами — “всамделишная” котомка из наволочки с лямками. У карапуза на лице серьезность и даже выражение торжественности. Отец, по-видимому, провожал их до ближнего Подмосковья. И он, и жена грустны и молчаливы.

Неторопливо ехавший нам навстречу артиллерийский лейтенант искал оставшееся орудие. Мы видели орудие в соседней деревне.

— Километра четыре, говорите? Спасибо. Мое орудие. Лошади у него пристали. — Он двинулся было дальше, но неожиданно спешился и подошел к нам.

— Закурим, товарищи бойцы?

Распрашивал... Рассказал о себе. Мобилизовали его на второй день в Минске.

— Двадцать шестого бомба попала в дом. В доме были жена, двое ребят. Ничего не осталось... Вот теперь я один.

Лейтенант переспросил про деревню, пожал нам руки и сел на коня.

— Нужно ехать к орудью. На передовой встретимся...

На 35-е сутки пришли в Казань.

В 20-й запасной бригаде, размещавшейся на окраине города, началось формирование. Я попал в минометную роту одного из маршевых батальонов. Пошел к комбату: “Какой же я минометчик? Моя военная специальность — связист-телефонист”. Комбат улыбнулся: “С вашими знаниями 30-х годов разберетесь ли вы в современном телефоне?” Это было верно. И я остался наводчиком батальонного миномета. Но не повезло. На одной из стрельб в декабре в 40-градусный мороз, когда мы весь день провели на далеких пустырях за Казанью, я обморозил лицо, бедро и пятку. Обморозился не я один. В госпитале пятку хотели отнять, упросил повременить до утра, она “оживила”; бедро в сильные морозы и сейчас иногда немеет. Но хуже всего пострадало лицо, загноилось. Месяц ходил с забинтованной головой, только щели для глаз и рта. От маршевого батальона отставили. Когда повязку сняли, назначили писарем в строевую часть бригады.

До весны 1942 года поздними вечерами, когда освобождался, час-два читал книги по философии и истории партии. Думал, кончится война, буду сдавать кандидатские экзамены.

Образумила меня статья Ильи Эренбурга “Жить одним”. Жить войной, все отдать победе! И так всполошил меня Эренбург, что я ему написал. Совестно было оставаться в тылу. К

тому толкало и то, что в штабе запасной бригады нарастало число “отсиживающихся” сынков и племянников казанских “вождей”.

Как писарь штаба участвуя в комплектовании маршевых частей, убедился в нехватке переводчиков, понял, что если захотеть, то немецкая военная терминология не так уж недоступна для знающего язык. Во всяком случае, не труднее философии для кандидатского экзамена. Немецкие учебники вытеснили философию, а тренироваться можно было, “допрашивая” друг друга.

Началась “война” с начальством: писарь я был неплохой, отпускать меня не хотели. Но своего добился: назначили переводчиком в 110-ю отдельную лыжную бригаду. В декабре 1942-го выехал с бригадой на фронт.

Выгрузились в конце января 1943 года у города Калач. Войска, завершившие разгром немцев под Сталинградом, ушли далеко вперед. Нам предстояло догонять их. Весна была ранняя, снег жухлый, мокрый, и мы — лыжная бригада — погрузили лыжи в обоз и шли пешим порядком.

Фронт был далеко впереди, мы шли через освобожденные разоренные деревни по страшно разбитым дорогам. Строем идти было невозможно, шли группами, прыгая с кочки на кочку, обходя воронки, брошенные разбитые танки и развороченные укрытия, помогая лошадям вытаскивать тяжелые сани, подталкивая то тут, то там застрявшие грузовики и сторонясь обгонявших нас танков.

Вот в эти дни я начал на остановках делать короткие записи в блокнотик, не подозревая, что вести дневник запрещено.

31 января. Встречаем колонны пленных — больше всего итальянцев, есть немцы, поляки, мадьяры, румыны. На дороге валяются замерзшие. Их немедленно раздевают свои и все напяливают на себя. Оставляют только белье.

1 февраля. Заночевали в хуторе Поплавском в хате с ранеными бойцами. Их трое: узбек, грузин и русский. Первые двое по-русски почти не говорят, а вот как-то понимают друг друга.

2 февраля. Разместились в Ширяеве. Радостная весть из Сталинграда: немцы в городе сдались, пленен их командующий. По пути после прохода пленных три находки: разорванная открытка с портретом короля Виктора-Эммануила, путеводитель по туринскому музею и коробка из-под презервативов “Ramses” (“лучших в мире”).

У одной хаты три итальянца заглядывают в окна, просят в дом, жалобно повторяют: “Мама, мама...” Мадьяр, сидя на корточках, пытается натянуть на окоченевшие, уже белые пальцы перчатки. Пробует встать — и не может. Наши бойцы подтаскивают ему солому, зажигают костер, дают сухарей. Бабы дают пленным куски хлеба, пироги с картошкой. Велико добродушие нашего народа... А сами пленные редко поддерживают друг друга, падающего добивают, раздевают. Если в избе пленные разных национальностей, немцев кладут к двери: там холоднее... Немцы в армии вели себя надменно, хозяевами, за это в плену на них отыгрываются.

Наш штаб разместился в правлении колхоза. Через стенку слышно: идет заседание — ремонт инвентаря, проверка семматериалов, дороги, подарки бойцам... здесь

уже “глубокий” тыл. Отсюда эвакуированные возвращаются к себе, восстанавливать порушенное.

3 февраля. И наши хороши! Вот сволочи: порубили сани на растопку, у красноармейской жены взяли продуктов. Развелись “снайперы” — из ППШ лупят по сорокам...

5 февраля. Воробьи чирикают на подоконнике, на освещенном солнцем заиндевевшем стекле прыгают их силуэты.

Бабий крик: “Ой, караулечко!”

8 февраля. Не доезжая Богучара следы войны: побитые машины, разрушенные дома, следы пуль и снарядов. На почтовом ящичке, висящем на остатке стены, надпись: “Выемка с 8 до 18 каждый час”. Какая уж тут выемка! Торчат трубы сожженных домов, кирпич немцы растащили на дзоты.

— Не чаяли, не гадали немцы, — говорит хозяин, — что отдадут Богучар... А бежали, бежали без оглядки!

Нашел обрывок итальянско-русского словаря. В нем три слова рядом: fuga — бегство, fuggire — бежать, fulmine — молния. Бежали итальянцы действительно с молниеносной быстротой, не успев пообедать. Здесь их почему-то зовут “петушки”.

В кино идет “Профессор Мамлок”. Город оживает. Люди возвращаются. Ночевали с лейтенантом Цинцшадзе, студентом, “чистым” физиком. Скромный улыбающийся парень, влюбленный в Грузию и физику.

С квартирьерами пришли на хутор Краснодар. Ночью по накатанному шоссе машины идут с полным светом. “Как в кино”, — говорят бойцы.

Днем яркое солнце красит плоский снежный пейзаж.

— А как было под немцами? — спрашиваю хозяйку.

— Здесь были в основном итальянцы. Какие они вояки, только о еде думают, стреляют воробьев, лягушек ловят, картошку роют, жарят и едят. А ночью воруют. Немец — он приказывает. Вынет часы, покажет, чтоб через два часа была курица. И несут. Итальянцев и кормили хуже: немцы получали 700 граммов хлеба, а итальянцы — 400.

У пленных итальянцев в карманах вперемешку открытки-иконки и... порнография. В трудную минуту торгуют и тем и другим.

— Лошади у немцев хорошие, а у итальянцев — ослы, — говорит хозяйка.

11 февраля. В Смаглеевке четыре женщины гадают на мужей. Хозяйке выходит, что муж вернется. И должен вернуться: долечивается в госпитале, ноги нет по колено, одной руки — по локоть, другой — по кисть. И с какой лаской она его ждет! Сколько во всем тоски, любви, радости и горя!

Хозяйка рассказывала о зверствах немцев. С лейтенантом, который неудачно выстрелил себе в голову и жив остался. Выломали руки, ноги, повернули назад голову! А самое

страшное с девушкой-лейтенантом: голую вытащили на дорогу, порезали лицо, руки, отрезали груди...

Отца держали, заставили смотреть, потом замучили. У него еще два сына в армии — майор и капитан. Мать вывели смотреть, но она умерла, не выдержала. И все это по доносу бабы. Нашли ее наши, расстреляли...

Расстреляли и старосту, что над людьми издевался, бросился за убежавшими немцами, да попался.

Все это следы войны, страшные, осязаемые, живые... Кровь закипает!

13 февраля. Доехали до Старобельска. Здесь уже городская обстановка и дела городские. Полицаи, содержанки оккупантов. Незабываемы массовые расстрелы под парашютной вышкой. Грандиозные выпивки на Рождество и под Новый год со стрельбой и пожарами. Высылки людей в Германию: угнали 12 000 старобельчан.

Было и другое: срывали немецкие афиши, расклеивали листовки: “Ждем Красную Армию!”, на вышке вывесили красный флаг. Но были и русские, служившие в германской армии и в гражданской администрации, были просто доносчики. Большинство таких бежали с немцами, но были и оставшиеся.

Сегодня в каком-то погребке нашли... немца. У него запасы еды, солома на подстилку, пистолет. Его нашли спящего, разбудили, взяли пистолет и расстреляли. У населения вошло в обиход слово “нихт” — нет. А как здесь слушают радио, голос Москвы? Его не слышали полгода... “Где он, тот лейтенант, что был здесь при отступлении? Я тогда спрашивала, — говорит пожилая женщина, — на кого ж вы любимую Украину покидаете? А он сказал: через шесть месяцев мы вернемся... Не обманул”.

Оккупационная марка стоила 10 рублей.

16 февраля. Шахтерская слобода — Кременная. Население рабочее. Оккупация проверила многих. Выявились белогвардейцы.

У немцев основной мерой наказания были плети: 25, 50, 75...

С середины февраля таять начало не только на солнце. Даже ночью звенели капли и совсем не подмораживало.

16 февраля. Обогнавший 2-й батальон лейтенант сказал, что колонну бойко ведет Ложкина. Посмеялись и перешли на другую тему. А вечером сказали: после налета на колонну несколько раненых и убита Ложкина. В этом была какая-то трагическая нелепица: первый удар в нашей части пришелся по врачу, по женщине...

17 февраля. Через Красный Лиман прибыли в Маяки. Здесь уже живут устными фронтовыми новостями: Славянок в 9 километрах удерживают полицаи; и тут же говорят: Славянок взяли. Информбюро сообщает: взяли Харьков.

На солнце весело щебечут воробьи и синицы, с шумом перелетая со стога на дерево, с дерева на забор. На дороге лужи талой воды. Солнце искрится на осевшем снеге, отражается в ручейках.

Через Маяки отходили немецкие казачьи части генерала Краснова. Откуда-то выкопали его немцы. Нашел на Дону притаившуюся сволочь. Пришел из Тагинской и окрестных станиц, а били его на Северном Донце.

22 февраля. Налетел немец, наши истребители его сбили. На Украине истребителей зовут “стрелками”.

24 февраля. Поехали на соединение с бригадой, но дорога оказалась отрезанной; поехали в объезд на Грушеваху, где и заночевали.

Солнце заходило круглое, красно-желтое. Померкло не сразу. Небо темнело медленно и не успело потемнеть, как зажглись первые звезды. Ковш Большой Медведицы зажегся бледным светом на почти пустом небе и показал на Полярную звезду. А когда небо густо засыпало звезды, крупные засветились особенно ярко, заиграли. Мы ехали прямо на север.

Ночью ходили на перекресток дорог на Барвенково и на Изюм. Сколько раз эти места переходили из рук в руки?! Недаром здесь с такой тоской смотрят на отъезжающую машину с военными: “Опять?!”

Днем с горы хорошо виден был бой недалеко. Первый бой, который я видел. К вечеру воцарилось спокойствие.

26 февраля. Вчера, пытаясь проехать к своим, попали под бомбежку. Ночью искали штаб, нашли его. Утром наконец-то увидели своих товарищей.

27 февраля. С группой офицеров в Изюме. Организовали сбор бойцов в пригороде Гончаровка, где и заночевали.

1 марта. С 27-го готовимся к переходу в 44-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Вчера привезли приказ. Завтра переходим.

Ночь на 2 марта прошла тревожно: ракеты, артстрельба, пулеметы. За ночь дважды патрулировал. Хочется записать хоть что-нибудь из боевых эпизодов. Наши покосили под Добровольцем танковый десант. Разведчик 3-го батальона взял немецкого офицера. Пэтээровец первого батальона подбил танк, а другим был раздавлен.

Встретили подростка. Бежит из Днепропетровска. “Когда красные подходили к Днепру, немцы опять стали угонять ребят в Германию. Я получил повестку. Удалось бежать...”

Передача в 44-ю дивизию рядовых продолжается. Начсостав собирается в Федоровке в ожидании направлений.

4 марта. Вечером меня проверяли в разведотделении штадива 44. Оформили направление в 128-й гвардейский краснознаменный стрелковый полк.

6 марта прибыл в полк. Вечером разведчикам поставили задачу: где пройти, не возвращаться своим следом, пройти в тыл незаметно, связь, если порежешь, не отпускать, идти на потери в крайнем случае, но языка достать.

Деловито сдавали документы писарю, серьезно одевались, проверяли гранаты и патроны, потом просто ушли в темноту добывать языка.

8 марта. Ежедневно идут из окружения — из-под Синельникова, Запорожья. Рассказывают о жестокостях, творимых в этих вновь занятых немцами вследствие временного успеха местах. Расстрелы, убийства, насилия... Полицаи сводят последние счета.

Двадцать дней на фронте. Привыкаю различать голоса войны, забываю голоса птиц, голос весеннего леса. И все же прислушиваешься в минуты затишья. Забудешься, и в этот момент мина — издали нарастает ее мерзостный вой, а на полдороге нагоняет гром выстрела.

В ночь на 16 марта слушал радио-концерт из Лондона. Диктор: “Вы слышали наш смех. Вы смеялись вместе с нами. Мы смеемся, несмотря на бомбардировки Лондона. Мы смеемся и будем смеяться еще больше, так как все больше и больше бомбят Берлин”.

17 марта принесли пачку документов. Наконец-то перевожу, занят своим делом. Много писем, но в них мало интересного — родственная переписка: “...поздравляем с переходом в танковую часть, но умоляем: береги себя”. Много молитвенников: послеобеденные, перед сном и т. п. Удостоверение: “На основании того, что стрелок Рааб Эрик под присягой показал, что имеющаяся у него красная куртка не получена по линии „зимней помощи”, удостоверяется, что она принадлежит ему лично”. Чушь какая-то.

25 марта. В письмах удивление по поводу наступательного духа русских. Надежды на решительный бой и “национальное наступление” омрачены мыслями о происходящих событиях, когда все может произойти...

Ночью с плачем кричат совы, бухают пушки, трещат пулеметы. Ковш медленно оползает с востока на запад вокруг Полярной звезды. К утру холодеет, иней ложится на дорогу, на провода. Звезды тускнеют, луна выглядит белым блином. Розовеют верхушки деревьев, раздаются утренний щебет птиц, дробь дятла. И стрельба возникает какая-то особая, утренняя.

31 марта. Оттаял лес. Настил хвой стал сухим, теплым. Летают крушеницы, многоцветницы, божьи коровки.

“Нравится?” — передо мной фото молодой девушки. Я что-то хмыкнул. Девушка не была хорошенькой, не была и уродливой. Что сказать? Обидишь еще... “Пашка у одного парня выпросил, а я у Пашки за порцию каши купил”. Я не понял. “Все просто: Пашка написал ей, как шел с парнем в атаку, видел его смерть героическую, нашел в кармане это фото с адресом. Потом я про Пашку тоже писал. Вот смею было! Вместе читали...”

Он осекся, видя, что я не смеюсь. И другие вокруг нас не смеялись.

— Мне не смешно, — сказал я, — даже как-то...

Я искал менее обидное слово...

— Противно, — с гадливой гримасой сказал сидящий рядом сержант.

— Есть вещи, над которыми не смеются, — проговорил автоматчик.

И заговорили все.

— Война! — оправдывался владелец фотографии.

Война... Как много гадостей пытаются оправдать этим словом. Свальный грех на ночевках, мат при девушках-связистках, грязные шуточки о женах... Искренне это делают немногие. Юнцы тянутся за ними, чтобы казаться боевыми. На самом деле не так. У каждого в сердце есть свое бесценное, к которому других не допускают. Отгораживается грубостью и сам же боится. А ведь за это дорогое он воюет...

В газетах вслух прочитываются все стихи. Слушают все внимательно. А потом кто-нибудь бросает страшную матерную фразу. Чтоб не поддаться, что ли? Показать себя мужественнее, грубее, чем в действительности.

3 апреля. Утром донесли крики петухов. Солнце вставало из-за леса, верхушки леса покраснелись. Фрицы завели новую пластинку: у них, мол, хорошо и пленным, и населению. Самое страшное: заставляют девок петь, и песни доносятся вечерами с того берега Донца.

4 апреля. Меня перевели из полка в дивизионную разведку.

10 апреля. Первый пленный в моей жизни. Допрашивал его “сосед”. Немец-эсэсовец, рост под 180, голубоглазый красавец. На левом рукаве “Totenkopf” — шеврон с вышитым черепом. Теперь эти знаки устарели: после гибели командира этой дивизии (сбили его самолет наши зенитчики) Гитлер дополнил повязки с фамилией погибшего “Т. Эйке”. Немец сначала путал, ломал язык, потом разговорился и сообщил важные вещи.

Вот его история. Зовут Вальтер Майер. Под Ленинградом — лейтенант итальянской армии. Попал в плен. Из плена освобожден дивизией СС. Стал ее стрелком. Здесь, под Донцом, поднял руку на унтер-офицера: тот часто назначал в наряд. Получил 10 суток карцера. Затаил злобу. Решил сдаваться. Боясь, взял с собой нашего пленного лейтенанта К. А., которого спас от расстрела. С ним вместе и попал в плен.

Майер оказался дезинформатором. Недаром путал — сволочь эсэсовская!

После того как немецкая 23-я танковая опозорилась под Сталинградом, Гитлер приказал отобрать танки: не сумевших побеждать Гитлер посылает под огонь без брони.

В пасхальную ночь (на 25 апреля) разведчики привели двух ефрейторов: Вернера Чалера и Иозефа Йорданса. Тупые парни. Они только прибыли на Донец из Франции. Их взяли спящими в блиндаже. Среди их документов два билетика с датами 23 и 24 марта и женскими именами. Билетика дают после выхода из публичного дома. “Всего 3 марки за раз...” На билетиках читаю: “Каждый солдат должен сохранить билет в собственных интересах, чтобы в случае заболевания предъявить врачу”. Вместе с этими билетиками лежат письма родителей, сестры, фото невесты.

У Чалера тупой бегающий взгляд труса. “Мы не участвовали в боях”. Выдает ленточка Железного креста. Спрашиваю: “За что получил?” — “Был подносчиком боеприпасов”.

За последние дни — большой лёт короедов и усачей — акантоцинусов. Серые красавцы с огромными усами. Меня очень поразил один командир: “А что в нем красивого?” Я понял. Нужно сначала любить природу, только тогда поймешь красоту...

Видимо, сильно выпивший с вечера Альфред Нейман в 6 часов утра 27 апреля наткнулся на нашу разведку. Пытался бежать, но был взят. Хорошо говорит по-немецки и охотно дает показания. “Воюю недавно. Я не хотел быть солдатом, заставили. Солдаты

недовольны войной, но боятся говорить”. Разрушение и разграбление наших городов не одобряет: “Это бесчеловечно. Но это делают СС, а не армия”. Из письма жены от 19 марта: “В среду получила от тебя посылку с чулками — чулки пришлились как влитые. А в четверг еще две посылки с салом и с маслом, теперь мы с Хайнцем некоторое время проживем”.

На дубах распустились листочки, несоразмерно маленькие для этих огромных деревьев. На срубленных соснах кучки коричневой бурой муки. Начало короедника. В сумерки исчезают многие краски. Остаются контуры. На фоне светлого неба лес вырисовывается четким ажуром.

На ночном дежурстве лейтенант Гудзенко подробно рассказывал про двухдневный тяжелый бой на железнодорожном переезде, за который он был награжден орденом Красного Знамени. Поглаживая орден, лейтенант говорит, улыбаясь: “А могла быть только смерть”.

Он щеголь. Кубанка лихо сидит на кудрях. Жалеет, что не может надеть расшитую украинскую сорочку. Странно смотреть на его маленькую фигурку и маленькие руки. Ведь он лихой разведчик. Мастер поимки “языков”. За ним слава “счастливчика”. Возвращение без “языка” для него случайность. Вера в удачу и мастерство — слагаемые его успеха.

Среди захваченных документов — цветные, заранее занумерованные бланки. Розовые и зеленоватые серии НУ III, № 205829 с таким текстом: “Выдавать только за границей... (войск. часть). Реквизиционное свидетельство. От... (община, округ) реквизировано... стоимостью... рейхсмарок (таких десять строк). Оплата произведена... (место, дата), подпись, печать”.

Судя по тому, что бланки использовались как писчая бумага, никто и никогда не оплачивал реквизированное имущество.

В немецких календариках приведены праздники и памятные даты. Предусмотрительно отмечено: “На время войны переносятся: Вознесение (3 июня) и праздник тела Господня (24 июня) на последующие, а день покаяния и молитвы (17 апреля) на предыдущее воскресенье”.

Внесены не только радостные, но и скорбные даты: утверждение Версальского договора, потопление германского флота у Скипа-Флоу, Сен-Жерменский диктат... Поддразнивают немца, науськивают его на нынешних врагов Германии!

В вечернем сообщении Совинформбюро от 1 июня есть показания моего “крестника” Вернера Чалера. О допросе Чалера я писал в письме Илье Эренбургу.

2. ПОСЛЕ КУРСКА

Измюм уже далеко позади нас. Лето в разгаре. Мы наступаем. Следы войны, зимой скрытые снегом, сейчас скрываются в зелени трав и деревьев. Но это только кажущаяся картина при взгляде на расстоянии. Вблизи все то же: трубы изб после пожарищ, оставленные немцами искореженные остовы автомашин, разбитые танки, лежащие на боку и кверху колесами телеги, ящики из-под снарядов, какое-то тряпье и трупы людей в зеленых, сливающихся с травой мундирах, трупы лошадей в кюветах и просто вблизи дорог.

Допросы живых пленных в редкость. Немцы отступают к Днепру, иногда бегут, но не сдаются. Допрашиваем в основном “языков”, тех, кого приводят разведчики после удачного поиска. Но документы и письма достаются мешками. Убегая, немцы бросают их в траншеях и блиндажах. Находим письма в карманах убитых.

Больше всего писем из тыла на фронт — от жен, родителей, детей.

Из открытки мальчика: “Скоро каникулы, и все будет хорошо, только бы летчики не прилетали”.

“Теперь о кроликах, — пишет жена Иоганну Фришту, — Альму я зарезала, не приносит приплода. Старого Ромера тоже думаю зарезать. Но все-таки посадила к нему двух молоденьких. Прижались к стенкам, но Ромер все же свое дело сделал...”

Приписка на отпускном билете: “Как участник боев на Восточном фронте отпускник имеет право на дополнительную карточку для рабочих тяжелого физического труда, а также дополнительно — на 2 яйца в неделю”.

Много писем с подписью “Маленькая незнакомка” с адресом и фотографией. Как похожи девушки всех народов!

Попались такие бланки, целая пачка:

Заявление

После тщательной проверки данных, имеющихся в моем распоряжении, в соответствии со своим долгом заявляю, что я и моя законная жена являемся чистокровными немцами (на... % являюсь еврейской помесью). Понятия “чистокровный немец” и “еврейская помесь” мне разъяснили мои начальники. Мне известно, что я подлежу наказанию, если мои показания ложны. Мне разъяснено, что, если я намеренно обманывал командование, буду подвергнут высокому наказанию, а при отягчающих обстоятельствах приговорен к смерти.

Подпись

Правильность вышеприведенных сведений подтверждена проверкой документов о рождении и крещении до деда и бабки. Печать, подпись.

Вилли Штуккеру от жены из Штутгарта: “Поверь, здесь еще много сидит мужчин, которые мучают жен фронтовиков. Сегодня хочу сообщить: мой шеф знает, как ты далеко. Больше я ничего не должна говорить, чтобы ты не раздражался. Понимаю, как это тебя ранит, какую причиняет боль...” (март 1943-го). От нее же в мае: “Для твоего загара купила крем „Tschauba” в надежде, что это тебе понадобится...”

Мне точно известно, что крем для загара Вилли не понадобится. И домогательства начальника жены его больше не беспокоят.

“Эрвин, — пишет мать, — прошу, не оставайся военным!!! Мое желание: обзаведись поскорее маленькой женушкой и ребенком. Быть наедине с собой временами так тоскливо, и как хотелось, чтобы в саду резвился ребенок. Как ты думаешь?”

Вилли уже ничего не думает. Письмо нашли в кармане убитого. Но как одинаковы мечты матерей по обе стороны фронта!

16 июля. Мы второй день наступаем. В 7.15 наши на высоте, ожесточенный бой в захваченных у немцев траншеях. К вечеру немец вернул высоту. 19 июля бой повторяется, высота взята, наступление продолжается.

С передовой принесли документы унтер-офицера Иоганна Вальнера. Он ошибся тропой и выехал на велосипеде на наших. Увидев наших разведчиков и направленные на него автоматы, застрелился. Судя по орденам, матерый эсэсовец.

Из письма Штайнеру: “Дорогой сын, не забудь привезти мне из России бинокль, но хороший”. И в конце приписка: “Не забудь сейчас же ответить о бинокле”. Отец-оптимист не получит вожаденного бинокля и не увидит больше сына.

Перед нами с конца июля 46-я Баварская гренадерская дивизия. Не эсэсовская, просто пехотная. (Гитлер своих пехотинцев называл гренадерами.) Наименование “Баварская” настораживало. Бавария — цитадель общегерманской реакции и фашизма. Имя “Баварская” обязывало. Как переводчику мне повезло: разведчики нашли 22 июля на высоте 185,1 тетрадь в черном клеенчатом переплете “Дневник боевых действий 2-й батареи 114-го артполка 46-й дивизии” с сентября 1942-го по март 1943 года. Читать было очень трудно: готический шрифт Гитлер сделал обязательным, подогревая этим германский шовинизм. Дивизия в 1942-м воевала на Северном Кавказе. Отступала на Тамань, Керчь. Отдыхала недолго в Запорожье. Потом была переброшена на Донец. В тетради много любопытного. Частое упоминание о “партизанской опасности”. Нередки случаи использования артиллеристов как пехотинцев. Слухи, распространяемые “отважными оптимистами”, об отводе дивизии во Францию. Можно представить разочарование батарейцев, когда они оказались вместо Лилля под Изюмом.

На фоне многодневного отступления странно выглядит характеристика наших войск: “Русский солдат — страшный солдат. Пленные показывали, что по пять дней не было еды, не хватает зимнего обмундирования и оно плохое, боевой дух очень слаб. И, несмотря на это, русские наступают”, а немцы отходят.

Тетрадь отправил Эренбургу. Не раз наши офицеры и солдаты, особенно разведчики, подбегали ко мне с номером “Красной звезды”: “Смотрите, товарищ лейтенант, Эренбург опять про нашего пленного пишет”.

Не могу отказать себе в удовольствии записать невольно услышанный разговор разведчиков: “Лицо у нее такое свежее, румяное, глаза голубые, волос такой *локониный*... В общем, *фигурная* женщина...”

31 августа. Допрашиваю перебежчика. Пауль Клебер, беспартийный. В его водянисто-голубых глазах видно, как тяжело и неуклюже работает его мозг. Он чернорабочий, образование начальное. Словенец из Австро-Венгрии. Много наград, но все за “усердие”, а не за “подвиг”. Война для него — вид работы. Служил в обозе. В трудную минуту попал в пехоту. Обещали вернуть в обоз. Ждал пять дней. Потом собрал табак, бритву, письма матери, предусмотрительно оставил винтовку и переполз к нам. На допросе вспомнил о “рабочем фронте”. Мне показалось, что сейчас придумал.

Эрнста Бровадского привели с куском хлеба во рту. Так, жующий, он отвечал на мои вопросы. Он штрафник, арестант; оружия не получил. Голодный. Доев свой кусок,

немедленно попросил еще и жевал, запивая водой. Получил срок за дезертирство из запасной части. “Почему я должен воевать за Гитлера? Я из свободного города Данцига”. — “Куда бежал?” — “Естественно, к русской границе”. Эти слова явно для меня. Из Восточной Пруссии в Россию?! Но суть не в этом. Воевать не хотел. На вопросы отвечает охотно, страха в глазах нет. Своя судьба его мало интересует, он не солдат — он арестант. Пока я допрашиваю другого, он сидит на траве и поглядывает на окружающих его балагуров. На шутки не отвечает. Похож на мартышку с бродячей шарманки. И в довершение сходства свертывается калачиком и дремлет.

Эвальда Медке допрашивать трудно: он заика. Заставляю писать.

“Каково положение дома?” — “Сейчас плохо. Но когда на нашей стороне выступит Греция...” — “Когда?” — “После восстания Индии против Англии. Фюрер договорился с индийскими вождями...” Темный забитый человек, жаль на него тратить время.

Эриха Метце привезли на машине, в блиндаж ввели под руки: он ранен в бок, в руку. Жалуется на боль. Перевязали. Отвечает сквозь зубы. Но допрос окончен. Вы бы видели, как легко он вышел из блиндажа и сел в повозку. Что его довезли, у меня уверенности нет, уж больно вредный был немец. Эпизод: при допросе присутствовал пропагандист дивизии мой товарищ Виктор Оффрихтер. Спрашивает у пленного: “Почему вы не отвечали, вам не так уж было плохо?” — “А почему я должен быть откровенным?”

4 сентября. Страх. Страх — основное чувство унтер-офицера Ганса Вебера. Он отражается на его лице, он руководит им. Перемешивая русские слова, что-то бормочет о “русских товарищах”. Говорит, что, желая сдаться, до взятия в плен размахивал платком. Потом сел, не спросив разрешения. Убежден в своей безопасности. Немецкое нахальство. “В немецкой армии садятся без разрешения в присутствии офицера?” Смотрит на меня с удивлением: “Но тут не немецкая армия”.

По профессии мясник. На фотографии выглядит как приказчик мясной лавки. Каждый вопрос встречает бегавшим взглядом. Правду сказать боязно, соврать страшно, смолчать нельзя.

После допроса спрашивает: “Скажите, в Сибири жизнь возможна?” Я перевожу вопрос, и он недоверчиво смотрит на наших солдат-сибиряков. Общий хохот не смутил его. А я думаю: “До Сибири еще надо доехать”.

В письме фрицу Штиглю от жены: “Я не знаю, что со мной... Каждый день испытываю страх, не прилетят ли опять, среди бела дня. Заводы Мессершмитта погибли. За час уничтожено столько, что невозможно поверить. Все спрятались, а я не успела. Мне страшно, не знаю, что делать...” С фотографии смотрит белокурая Гретхен с модными локонами, склонная к полноте и сентиментальности.

После допроса беседую со Штиглем без конвоя. Он жалуется на наши бомбежки ночью легкими самолетами (“У-2”). “Бомбы с воздуха — неприятная вещь”. — “Вас сюда никто не приглашал, вы сами напросились на эти неприятные вещи, — говорю ему, — теперь терпите”. Он молчит.

Среди писем венца Хенслера две наши листовки. Спрашиваю: “Вы хотели сдаться?” — “Нет”. Я удивлен. На такой вопрос немцы обычно отвечают утвердительно, надеясь облегчить свое положение. “Зачем же вы их держите?” — “Для интереса. Своим

сообщениям мы не верим”. — “А нашим?” — “Цифрам потерь тоже не верим, но, если читать то и другое, создается правильное представление. Вероятно, так”.

5 сентября. Франца Матуша взяли раненым. 15 часов пролежал в траншее без помощи. Слова сыплет, как горох, говорит не задумываясь. Бойтся ли он? Мне кажется, нет. Спрашиваю: “Офицеры говорили об ужасах русского плена?” Он не задумывался над этим. Ему оказали помощь, накормили. Вид у него легкомысленного юнца.

В отпуске был в Лейпциге. Там много беженцев, их рассказы наводят ужас. Лейпциг ждет своей участи быть под бомбежкой. Это ожидание кошмарно. Авторитет Гитлера падает. “Знаете, почти никто не говорит „Хайль Гитлер”. Говорят: „Здравствуйте, до свидания”. Химическая война? Нет, это слишком ужасно! Этого не будет!”

Из давнего письма (февраль 1943-го) Паулю Коласси из Бромберга: “Геббельс сказал, что русские хотят дойти до Берлина. Покажи им, мой милый, где их Берлин. Не в Германии, а в Сибири!” Это написано после разгрома немцев под Сталинградом! Сам Пауль в плену. Он ничего уже “показать им” не сможет.

8 сентября. Наш КП в Петрополье. Брошены сады и огороды. Догорают хаты. Дерево под глиной горит медленно.

Допрашиваю Ренэ Бастьена из Саарской области. Считает себя немцем. (Взятый ранее из Саарской области и тоже Ренэ считал себя французом.) Был в СА, воюет в 23-й танковой дивизии, вернее, воевал; теперь он в плену.

Местные жители рассказывают: один эсэсовец получил письмо: “Фрау нет, киндер нет”. Выгнал всех из дому и застрелился. Другой камень повязал на шею и утопился. На передовую шли неохотно. Обижали всячески. С огородов можно было брать только с их разрешения. Насиловали зверски, по 8–12 человек. В комендатуре сказали: “Если старше четырнадцати и до пятидесяти лет, жаловаться не ходите. Наши солдаты пять лет без жен, вы два года без мужей!”

Настроение у них подавленное. Зашел один в хату. Повесил портрет. “Кто это, — спрашиваем, — брат, родич?” Помолчал, оглянулся по сторонам: “Шайзе (дерьмо. — *П. Р.*), — говорит, — война — шайзе, вся жизнь — шайзе”. Но портрет оставил. Потом узнали, что это Гитлера портрет. “Эсэсовцы хуже немцев”, — говорят местные.

Наступаем. Навстречу нам — подводы, повозки, телеги, пешие дети, старики, женщины... Домой из засад, из немецкой кабалы... Домой, хотя и на пепелище. Радостные лица, благодарные слова.

В неотправленном письме ефрейтор Ганс Клуг пишет жене: “Настали самые тяжелые времена с тех пор, как я в России... 15.9 я должен был пойти в отпуск. Теперь, однако, наше свидание только в руках божьих. Могу вернуться живым только по неизмеримой его милости. Переносить войну выше сил человеческих...”

Вечером 15 сентября в хату к двум старушкам вошел немец с винтовкой. Подал старушкам руку, дал по прянику. (“Взяли, как не взять, ведь с винтовкой”) Прилег, винтовку рядом поставил, заснул. Утром глядь в окно: верховой немец подпаливает хату. Старушки, как могли, отстояли хату, сгорела только крыша. Когда вошли в хату, немца след простыл, а винтовка осталась. Сдали красноармейцам, что пришли вскоре.

Звали этого немца Йозеф Шорр. Его поймали за деревней. Старушки его узнали. “Хотел сдаваться?” — “Нет, просто без винтовки способнее”. — “Почему отступаете?” — “Людей мало”. — “Кто понесет наказание за содеянное?” — “Проигравшая сторона”. — “Каково настроение солдат?” — “Разное, есть сомневающиеся в победе...” — “Значит, дела плохи?” Молчит. “Фюрер действует плохо?” — “Нет, фюрер действует хорошо. В каждой стране должен быть человек, делающий основную работу”. — “Значит, фюрер хорошо?” — “Да, хорош... Он фюрер, он должен быть хорош”.

В деревнях на нас смотрят с благодарностью в глазах. Одну девушку зовут на разгрузку. Она отмахивается: “Успею. Дай посмотреть. Я два года русских не видела”.

26 сентября мы ушли на формировку, ожидалось пополнение. В Раздорах хозяйка в доме, где разместился разведотдел, хромает. Почему? Немцы загоняли в подвал по 10–12 женщин и кидали гранату. Кинут одну — послушают, еще пару — послушают. Кинут и уходят. Трое убиты, остальные ранены. “За что?” — “Хто зна, за що!” — “Спокойно ли немцы зверствовали, все ли?” — “Когда евреев заставляли без нужды камни таскать, в луже плавать, пристреливали, один с ума сошел, а остальные ничего, спокойно зверствовали”.

Попалось письмо украинской девушки из Фюрстенберга: “Мне выдали нарукавные нашивки „Ost”, чтобы отличаться от немцев... Работавшие у моего бауэра два немца взяты на фронт, теперь вместо них два француза. Заставляют есть всякие отбросы, голод заставляет хоть г...о, лишь бы наестся... В нескольких местах меня спрашивали: „Москву уже освободили?” А оказывается, наши уже в Донбассе”.

В Илларионовке рассказывали, что, уходя, немцы говорили: “Сейчас уходим за Днепр, там постоим в обороне, а в мае вернемся”.

19 ноября. Мы уже в составе Белорусского фронта. Первый пленный на Белорусском. Без шапки (это обычно), с кровоподтеком у рта, босой. В сегодняшний холод ему, вероятно, скучновато. Измучен, засыпает стоя. Он из 5-й танковой дивизии. В ней теперь 18 танков (из 200). Дивизия брошена из Чернобыля, где стояла на отдыхе. Ему 21 год, призван в 1940-м. Молодое лицо с выражением крайнего утомления. “Что пишут из дому?” — “Что могут писать? Жалуются”.

24 ноября. Пленный взят у Липов. 1925 года рождения. Три дня как прибыл на фронт. Воспитанник Hitlerjugend. Целый час путал, не называл номер полка, плакал, выл. Все-таки номер полка назвал, а дивизии так и не “вспомнил”.

К вечеру пленный из того же полка 265-й пехотной дивизии. Оказывается, утренний сначала говорил правильно, но в справочнике этого полка не было. Мы ему не верили, а он в угоду нам начал выдумывать. Интересно не то: полк до этого стоял в опорных пунктах Атлантического вала в районе Бреста (Франция). Вот откуда Гитлер снимает свои резервы.

В тот же день еще два солдата (поляки), и тоже с Атлантического вала. Показывают, что после отбора там остались старики 48–50 лет.

Из письма Вальтеру Урброку: “Господину майору я написала. Вы это скоро заметите (обычно это бывают просьбы облегчить службу солдата. — П. Р.), и очень озабочена, поможет ли оно... Сегодня получили поляка, за которого отдали русскую девушку. Поляк неплох, умеет обращаться с лошадьми, чистый, аккуратный...”

Какая-то фройляйн 1913 года рождения приехала на фронт. У нее удостоверение, выданное бургомистром: “По закону о праве наследования и по закону об охране чистоты немецкой крови и немецкой чести означенная фройляйн может беспрепятственно вступать в брак... если кто-нибудь возьмет ее...”

Из письма ефрейтору Пфаншмидту: “Дорогой Альбин, нелегко „мужаться и держать выше голову”, когда узнаешь, что ты уже не во Франции, а на востоке. Я закричала от ужаса, у меня отнялись руки и ноги...”

Прочитал в “Die Welt” статью “Демонический человек” о Ришелье в связи с 300-летием со дня смерти. Ришелье изображается врагом Германии (отнял Эльзас-Лотарингию). Заключительная фраза: “В боях за новый порядок в Европе обе нации, которые часто, к неблагоприятию материка и к пользе Англии, воевали, объединяются для плодотворного товарищества, и тем самым разрушается завещание Ришелье”.

В другой газете заинтересовала статья: “Написать письмо — искусство, которым не каждый владеет”. К ней фото: пишущая фрау с надписью: “Если бы существовало высшее правило писания писем, оно гласило бы: никогда не пишите писем, будучи в плохом настроении. Такое письмо никого не обрадует. Ждите лучшего часа и пишите радостное письмо, особенно если оно предназначено фронтовику”. Первая мысль: статью готовили в ведомстве Геббельса. Но такие рекомендации давала бы любая пропагандистская служба.

2 декабря. “Какова боевая задача вашей части?” Поляк Яворский задумывается лишь на секунду: “Они хотят выиграть войну, они сумасшедшие”. А от ответа по существу уклоняется. При каждом ответе Яворский отмежевывается от германской армии... “Они...” Узких задач он не знает или делает вид... “Вчера наступать, сегодня — обороняться”. О немцах говорит презрительно, со злобой, готов растерзать немца. “О, вы не знаете, как немцы обращаются с поляками”. Он хочет воевать в польской армии против немцев. В его словах много правды, но я вижу, что все его поведение, все слова — на публику. Его ярко показная ненависть к немцам вызывает недоверие. Не исключая, что “там” он усердно кричал “Хайль Гитлер”. Хитрец.

Из той же роты, что и Яворский, немец 21 года, художник Курт Кнабе. В противовес своей фамилии (Кнабе — по-немецки “мальчик”) он выглядит старше своих лет, перепуганный насмерть верзила, желающий казаться меньше: сутулится, горбится. С тревогой смотрит на фотографии немецких зверств в “Красной звезде”, которые я ему показываю. Ему не приходилось этого видеть. Слышал, что такое бывало, но, по его мнению, редко. Среди его бумаг открытка пожара в советском городе с надписью “После отступления большевиков”. “Кто это сделал?” — “Немцы”. Но он сам такого не видел. Он видел хорошее отношение немцев к пленным и населению.

На все интересующие меня вопросы о части, вооружении и настроении солдат отвечает правдиво, но все время боится, что ответы мне не понравятся. Считает, что победа Германии еще возможна.

Пауль Отто, прибывший из Франции, смотрит на фото немецких зверств без испуга: “Это очень печально! Очень печально!” Хочу проверить, чувствует ли он свою вину, требую объяснений фотографий. Он объясняет спокойно: “Это немецкий солдат с автоматом, это советские граждане, которых расстреливают, — и добавляет: — Гитлер виноват в этом, он натравливает людей”. Сам он рабочий, каменщик. Теперь авторитет Гитлера среди рабочих низок. Среди солдат его возраста (он 1906 года рождения) никто не верит в

победу Германии, настроение подавленное и в тылу, и на фронте, но высказываться бояться. Гестапо...

Попался нам профессиональный игрок в гольф — Вилли Кениг, 1906 года рождения. С 1928-го по 1935 год, когда Германия была демилитаризована, служил во Французском иностранном легионе в Марокко. Женился на сирийке. “Лучше двадцать лет прослужить в Марокко, чем год в германской армии”. Был ранен подо Ржевом. После госпиталя снова на фронте. У него к Гитлеру свои счета: в 1936 году не пустили в Германию жену-сирийку: она не арийка. Его всегда считали неблагонадежным: служил во французских частях. В 1941-м продержали семь недель под следствием в концлагере. А в 1942-м все-таки мобилизовали. По его словам, евреев в Германии не осталось. Все они или уничтожены, или отправлены в гетто под Варшавой. Солдаты знают о восстании в еврейском гетто, что оружие восставшим продавали немецкие солдаты.

Генрих Динст, бывший офицер-пожарник, член СА с 1933 года, с 1937-го — в нацистской партии. “Что привлекло вас в СА?” Он говорит о принуждении, об угрозе остаться безработным. Я думаю, что дело в другом. В 1933 году он учел обстановку и понял, что это выгодно со шкурной точки зрения. “Каково ваше мнение о ходе войны?” — “Я не имею мнения, у меня заморожена голова”. — “Однако я вправе думать, что вы как член партии солидарны с высказываниями Гитлера, Геббельса”. — “Каждый имеет свое мнение”. — “Вот и скажите свое мнение о положении в Германии”. Он наклоняется ко мне и полупшепотом говорит: “Шайзе”. — “Что именно?” — “Все!”

25 декабря. Эдуард Шмидт, бухгалтер. Призвали его летом, обучали в запасном батальоне во Фрайштадте. 11 декабря прибыл в 64-й полк, 18-го вступил в бой. Русские застигли его в подвале, он защищался, отбивался гранатами. Его ранили в левую руку и лицо, и вот он стоит, перевязанный, на допросе. Отвечает на все вопросы, преодолевая боль. Иногда стонет. После перевязки бодрится, глаз цел.

Обычные вопросы допроса закончены. Спрашиваю: “Что теперь пишет Геббельс о Восточном вале? Где он после Днепра?” — “Геббельс не пишет о Восточном вале как о географическом понятии. Он проводит мысленную границу между Европой и Азией”. — “Но есть общепринятая граница — Урал”. — “Геббельс считает Азией все, что несовместимо с его понятиями „культурной Европы”. Истинная Европа по Геббельсу — это Германия. Европу нужно продвинуть на восток, увеличить урожай и количество продуктов питания, раздвинуть индустриальный район. Отсюда и оправдание войны на востоке”. — “И вы с этим согласны? Война ведется за справедливые цели?” — “Нет, мне не нужно войны. Без войны мы жили бы лучше”.

Шмидт — австриец. И спрашиваю: “Какая разница между австрийцами и немцами?” — “Австрийцы мягче, душевнее, немцы жестче, воинственнее. После аншлюса разница почти стерлась. Пропаганда сделала свое дело!” — “Довольны ли австрийцы аншлюсом?” — “Безработные довольны: аншлюс многим дал работу”. Он, Шмидт, аншлюсом недоволен, как и очень многие в Австрии: аншлюс принес войну.

Ночной допрос окончен. Еще до рассвета принесли пачку бумаг. Среди них “Памятка военнопленному”: что можно говорить (“все о себе”) и чего нельзя. “На все вопросы отвечай: я этого не знаю”. “Постоянно помни: каждое признание — это предательство, убийство товарища”. Много всяких открыток, писем, удостоверений. Я не стал их рассматривать, так как привели живого фрица из 64-го полка, которого нужно было допросить срочно. В ходе допроса привели другого, тяжелораненого. Закончив допрос своего, пошел послушать раненого. Мы уже радовались, что в один день вскрыли перед

нашим фронтом два новых соединения: 16-ю танковую и 90-ю пехотную дивизии. Томзен показал, что 90-я дивизия дралась под Гомелем. Томзен не знал, что раненый выжил, думал, что его товарищ убит. Я бросился за документами убитого, показываю их Томзену: “Хочешь жить — перестань лгать, говори правду”. Он рассказал все, показал, что именно наврал. Еще детальнее стал рассказывать, узнав, что в соседней хате допрашивается его однополчанин. И с лица его не сходил страх за свою висящую на волоске жизнь.

Те принесенные документы взяли на единственном трупе, оставшемся после ночного боя. Немцы не нашли его в темноте. Через два часа наш патруль, проходя вдоль переднего края, заметил, что тело шевелится. Тогда его и доставили в штаб. Не зная всего этого и полагая, что, кроме него, из роты никто не пленен, Томзен и стал плести чушь о 90-й дивизии. Так что наша радость о вскрытии “двух дивизий” была неоправданной. Хорошо, что сведения о 90-й не успели пойти “наверх” и мы не ввели в заблуждение командование.

Среди горы фотографий — редчайший снимок: немец с двумя индусами в форме немецкой пехоты, только с галстуками на темных сорочках и в чалмах. На правом предплечье знак “прыгающая пантера”. Это из части “Свободная Индия”. Своего рода “власовцы”.

Новый 1944 год встретили салютом с обеих сторон. К огню наших батарей присоединилась “катюша”. Немцы ответили огневым налетом по нашей деревне.

3. 1945-й — ГОД ПОБЕДЫ

Мы уже далеко от “старой” границы, освободили пол-Польши, вышли к Нареву. севернее Варшавы. Три месяца с октября 1944-го обороняемся на Пултусском плацдарме. В известном смысле вернулись времена, похожие на то, что было под Изюмом: пленные в редкость, только те, которых “добывает” разведка. Скорое возобновление наступления чувствуется, и “язык” требуется, как никогда. Вернее, как всегда, когда обе стороны — и мы, и немцы — в глубокой обороне в ожидании перемен.

2 января — удача, привели сразу двух — фельдфебеля Роберта Германа и обер-ефрейтора Кэзера Альберта.

Круглая голова и оттопыренные уши придают фельдфебелю сходство с Муссолини. На погоне серебряный галун — кандидат в офицеры. Кресты, регалии, четыре года верной службы фюреру. Два года как женат, фронт не помешал женитьбе. Считал свое положение прочным и безопасным — командир взвода связи. Рота недалеко к фронту. Да вот незадача — плен. Карьера рухнула. Но краха своего прусского благополучия (60 моргов земли) не предвидит. Принадлежность к партии отрицает, но сочувствует гитлеризму. На допросе не говорит ни слова правды.

Взятый вместе с ним Кэзер дрожит от страха. Противный баварский юнец с перепугу рассказывает все. Он-то и помог раскрыть истинное положение противника, огневые точки и позиции — “то, что особенно интересовало командование”. (Его пример развязал в конце концов язык и фельдфебелю.) Обер-ефрейтору 21 год. Неженат, и невесты нет. “Русских девушек пробовал?” Он смущается, мнетя, дрожит. Он настолько противен, что, кажется, ответ он утвердительно, присутствующие наши не сдержатся. “Нет”. — “А в Германии?” — “Да... в борделе... за двадцать пять пфеннигов”. При общем хохоте наш капитан сует ему пять марок: “Это тебе. Вернешься в Германию, будешь иметь двадцать девушек”.

Баварец не имеет своего мнения о войне. А пруссак ждет поражения Советского Союза. “Для этого нужно сначала разбить Англию, — говорит он, — без ее поддержки русские напора Германии не выдержат”. “Стратег” говорит это в то время, когда наши войска отбросили немцев на сотни километров от линии, где началось их наступление. “Скажите, был ли приказ Сталина о расстреле всех пленных, если Германия не прекратит сжигать русские селения?” Странный вопрос, когда мы уже далеко от России и близки к рейху. “А что вы сами думаете о сжигании селений, об уничтожении советской культуры?” — “Это бесчеловечно, но в этом не виноваты солдаты. Это выполняли спецкоманды. Да и они не виноваты: приказ есть приказ. Что может сделать маленький человек против власти?”

В общем, виновных нет, все освобождены от ответственности и от такой химеры, как совесть, приказом Гитлера. Вот он один и виноват. А нам, “маленьким человечкам”, и каяться не в чем.

14 января. Первый пленный Иозеф Валебергер, захваченный с началом нашего наступления¹, показал, что утром в его роте было 36 солдат. Нашего наступления ждали со дня на день, но утром после ночного бодрствования все, кроме наблюдателей, улеглись. Разбудила канонада. В первый день нашего наступления рота перестала существовать: убито — 6, ранено — 8, в плен сдалось — 19.

17 января. Вальтеру Зайфельду 38 лет. Вид у него дряхлый. С Рождества их батальон стоял неподалеку от Насельска. 14-го их поставили оборонять второй рубеж, но после нашей артподготовки они разбежались.

Зайфельду писал (письмо от 12.12) приятель — ефрейтор Данке, воюющий на западе. “...В последнем письме от Эвальда Бернда я получил потешное сообщение. Он и все там дома зачислены в фольксштурм. Карл Рауфман, эта старая калоша, — их начальник, а Розен Питер, подумай только — командир батальона. Мощная гвардия! Я ему написал, что старый Отто Штюбе может быть хорошим мотоциклистом, а глухой Думен — командиром полка! Буду ждать, что он напишет. Я облегчил душу...”

По показаниям Пауля Зегета, 1927 года рождения, в их батальоне 230 человек рождения 1927 и 1928 годов. Мобилизовали их только в конце октября 1944 года.

19 января. Первая встреча с фольксштурмом — один немец и два поляка. Поляки в прошлую войну отслужили в русской армии. Их батальон прибыл из Зихельбергера с задачей “остановить русских, чтобы позволить отходящим частям переформироваться”. Фольксштурмисты драпают вместе с теми, кого должны прикрывать. Это естественно. В фольксштурме — “солдаты 47–52 лет, обучались шесть недель (2 раза в неделю по 2 часа). Не отличают ручного пулемета от станкового”.

26 января. Куфель, осужденный за связь с партизанами в Югославии, сдался под Грауденцем. Предложили смыть кровью позор изменника. Предпочел жизнь в русском плену. Там же, под Грауденцем, сдались 65 поляков, вооруженных старыми винтовками и охотничьими ружьями.

Удивительно, но в разгар тяжелых боев и отступления немцев к Висле дивизионная многотиражка публикует статью “Жениться, но на ком?”. Иллюстрация: амур с панцерфаустом целится в сердце, прикрытое солдатской пилоткой. Солдат извещают о создании центральной картотеки писем для заключения браков. В ответ на письмо желающего заключить брак высылаются адреса, по которым можно начать переписку. Предложения на все вкусы, тысячи адресов. Уже заключено 2 тыс. браков. “Ты можешь

быть уверенным, что найдешь все по своему вкусу!” И тут же старая немецкая поговорка: “Кто живет без детей — не знает горя. Кто умирает без детей — не знает радости”.

В эти же дни мне попала вырезка из газеты: “Швед Свен Грееен известен своими предсказаниями”. Прошлые “предсказано” очень точно! Будущее для Германии выглядит очень оптимистично: к концу 1944 года англо-американцы потерпят сокрушительное поражение во Франции, Германия окажется в состоянии перебросить всю свою армию против русских. Россия будет разгромлена и расчленена. Япония победит в Азии. После войны Европа объединится под властью Германии.

Так Геббельс укрепляет дух солдат отходящей армии! Другой пример — “Памятка солдату” из 12 пунктов. В последних трех: “10. Кто единственный защищает Европу от гибели? Германия и ее фюрер. Никто другой противодействия оказать не может. 11. За что мы, следовательно, воюем? За права империи и ее граждан. Война требует жертв. Они не должны быть напрасными. 12. Кто гарантирует нам победу? Наш фюрер, стоящий на недостижимой высоте и как полководец, и как политик, и как государственный деятель... истина этих 12 пунктов должна укрепиться в твоём сердце... Будь тверд в вере в фюрера... Защищай наших матерей и сестер от судьбы, которую враг уготовил нам в своей безграничной ненависти...”

Кстати, о наших зверствах: какая-то немка при нашем приближении повесила сына и вскрыла себе вены. Подоспевшие наши солдаты сына вытащили из петли, мать перевязали. И сын, и мать остались живы.

3 февраля. Гейнц Земп пришел в носках. “У меня мозоли, я лег спать разувшись, а разбудили меня русские. Я уже был в плену. Не мог объяснить им, чтобы они подождали, и пошел так...”

4 февраля. Эриха Цобеля привели ночью тоже в носках. В руке один вымазанный в грязи ботинок. Отвечает с готовностью. Начал с жалобы: у него отобрали сапоги, очки и часы. Он унтер-офицер запасного полка из Данцига. “Полк СС?” — “Нет, СА, с СС у нас ничего общего”. (Старая вражда.) Ему 50 лет, член партии и отрядов СА с 1933 года. Призван 2 января 1945 года. Он уроженец Данцига, чиновник порта. “У нас работало до 500 русских, и среди других национальностей они были лучшими рабочими. После десяти часов работы получали горячий обед, а придя домой, снова ели. Пели прекрасные песни. Я помню русские песни еще с 1916 года. Я был тогда еще совсем мальчик, но хорошо помню. Пленные казаки пели тогда: „Оружьём на солнце сверкая...””

Он говорит все это так, будто русские рабочие были облагодетельствованы немцами вообще и им, Цобелем, в частности. На вопрос: “Чем кормили русских, какую работу заставляли выполнять, было ли различие в отношении к русским и рабочим других национальностей?” — отвечает с явной неохотой, уклоняясь от подробностей. Манера Цобеля держаться свободно в этом случае тускнеет. И все же продолжает попытки вызвать к себе сочувствие: “Русские — неплохие люди”. Это говорится явно в целях обеспечить к себе хорошее отношение.

На вопросы допроса рассказывает подробно и охотно. Рассказал весь путь батальона от Данцига на наш участок фронта. Состав батальона — одни немцы, большинство пожилые или совсем юнцы. Все члены партии, надеются на успешный поход. Настроение неплохое. “Почему?” Отвечает: “Питание хорошее, курица больше, чем у гражданского населения, есть водка”. Оказывается, не так уж много нужно для хорошего настроения. Самое

важное, что я узнал от Цобеля, что в партийных кругах знают и говорят о Зайдлице². Это подчеркнул в протоколе допроса.

10 февраля. По данным допрошенных пленных, за Вислой формируют аларм-батальоны³ из частей аэродромного обслуживания и бегущих с фронта солдат; перед нами появляются саперные, крепостные роты, но все как пехота. Настроение паническое: “Правда, что русские в сорока километрах от Берлина? Что Германии предъявлен ультиматум (семнадцать пунктов капитуляции)? Ах, если бы знали все, что здесь не расстреливают...”

Многие пленные рассказывают, что солдаты бегут от загранотрядов. Группы в 20–30 человек, направляемые с фельдфебелем, разбегаются нередко по инициативе фельдфебеля. Назначенные в боевое охранение разбегаются с наступлением темноты.

По словам пленных, писем никто не получает, от солдат скрывают номера полевых почт, запрещают писать.

Из документов узнал, что установлено деление немцев на три категории: Reichsdeutsche — имперский немец, Volksdeutsche — этнический немец, проживающий вне империи, Eingedeutsche — укоренившийся, полунемец.

19 февраля. Унтер-офицер Херберт Зименс просит вернуть ему письмо жены, оно дорого ему как память, вот что пишет жена: “25.1 мы все еще в Тигенгофе и хотим здесь остаться (смотрю по карте: Тигенгоф на восточном берегу Вислы. — П. Р.). Поток беженцев из Восточной Пруссии. 23 января был приказ об эвакуации Тигенгофа. В Эльбинге уже были русские танки, организованная жизнь полностью нарушена. Беженцы из Эльбинга приходят пешком, с маленькими салазками. Бедствие неопишимо, вдоль дорог трупы. По узкоколейке ничего не прибывает, грузовых машин нет. На Висле все застопоривается. Дети мрут. Очень многие дальше не идут, остаются здесь. Мы с Йергом у матери. Двигаться отсюда бесполезно. Русские придут и туда. Если бы я могла быть с тобой! Господа крайсляйтер (партийный руководитель района. — П. Р.) и бургомистр отправили свои семьи до приказа об эвакуации... Мы теперь ничего не имеем. Люди грабят магазины. Почта закрыта. Магазины закрыты. Первые дни меня раздавили, теперь я немного успокоилась. Спать вообще больше не могу, но чувствую себя спокойнее. Говорят, что здесь не будет боев, так как русский движется через Диршау. Пару раз собиралась к тебе и уже наполовину протиснулась. Однако вижу, что это бесполезно. Русские могут поймать. Ты абсолютно не можешь представить, какая здесь напряженная жизнь. Наш друг Беренс приехал на 2 дня из Вены, а теперь не может вернуться... Для тебя будет утешением, что я не одна. Я не знаю, что с тобой теперь, и это ужасно... Потерпи еще, наступил последний период. Потому что война скоро кончится. Пусть бог защитит нас всех. Я удивительно уверена. Много сердечных приветов. Бог с тобой! Всегда твоя Хайде”.

К письму — приписка, длинное новое письмо. Фрау Хайде передала свою квартиру в распоряжение беженцев — “серьезных пожилых господ. Везде беженцы. Счастье, если можно поучаствовать в их судьбе. Каждый говорит, что думает. Я была обрадована, когда меня посетил твой товарищ. Тогда никто не предполагал ничего плохого, а в половине десятого вечера стало ужасно. Беженцы снялись с мест, вещи оставили у меня... Не знаю, дойдет ли до тебя мое письмо. Передаю его через одного сопровождающего раненых... К пушечному грому уже привыкли... Еще одно ты должен знать. Цебетнеры имеют одного поляка — рабочего, который говорит по-русски. И это защита. Он добрый человек и поможет нам. Еще раз Бог с тобой. Сердечно твоя Хайде”.

Письмо я отдать не мог: оно имеет военное значение. Он понял это. Спросил, правда ли, что Зайдлицу поручат формировать германское правительство, как присоединиться к движению “Свободной Германии” и... откуда я так хорошо знаю немецкий язык?

Его товарищ Эрнст Лардер спросил только, можно ли ему сорвать погоны, чтобы его не принимали за офицера.

18 февраля. На вопрос, чем объяснить сопротивление немецкой армии, несмотря на существующее положение, Герард Шенайх и Альфонс Фрилке отвечают по-разному: “Немцы тоже были возле Москвы”, “Хорошие немцы должны верить в победу”.

Просмотр бумаг Германа Герлинга сразу возбудил у меня интерес к нему. Солдатская книжка мобилизованного в середине 1944 года, бумага со штемпелем директора каменноугольной компании в Париже, фото красивых девушек с надписями по-французски, фото интересной жены, фото парижского варьете и натурщиц, вклейка в солдатскую книжку о праве выполнять обязанности переводчика (владеет французским и английским). Отвечал он языком интеллигентного человека. Внешне — плюгав. Небритое лицо и грязное обмундирование делают его запущенным. Держится свободно. После военного допроса обращаюсь к общим темам. “Высок ли авторитет Гитлера?” — “Я слышал, что авторитет остается на высоком уровне, так как ему приписывают все хорошее, а все ошибки — генералам, министрам и прочим. Вам попадались в основном люди средние, вернее, простые. На них и рассчитана пропаганда. Культурные немцы и высшие круги знают Гитлеру цену”. — “Кто еще верит в победу Германии?” — “Или дураки, или юнцы. Молодежь рождения двадцатого года и старше воспитывалась в гитлеровском духе. Критически мыслящие оценивают происходящее как безнадежное”. — “Как смотрят на оружие Фау?” — “Фау-1 применили внезапно, и это имело некоторый успех. Фау-2, по существу, оружие не новое. Время для применения Фау-3 наступило давно, но его, вероятно, не существует. Применение газов невероятно: солдаты бросают противогазы, командиры не обращают на это внимания, группы химразведки действуют как пехота”. — “Где семья?” — “Все в Гарце”.

Сам он, по своему положению, был бронирован, благодаря связям долго служил в больших штабах. Но тотальные мобилизации следовали одна за другой, и вот он солдат 3-й роты 461-го пехотного полка. Сравниваю его фотографии: в гражданском он был если не импозантен, то приличен, но солдатом — плюгавый фриц.

Среди бумаг одна особенно интересна: список различных потерь от бомбардировки 27.02.44. В нем оценка предметов и полученные суммы: 4 кресла, обтянутые розовым шелком, — 720 марок, 3 статуэтки (бронза) — 3400 марок, лиможский сервиз на 117 предметов — 3500 марок и многое другое. Всего было получено 28 500 марок. Бомбежка, оказывается, не так уж невыгодна для некоторых.

Он знает о Зайдлице. Когда я называю Вайнерта, переспрашивает: “Поэт?” Интересуется, как связаться с комитетом Зайдлица.

Как же, “критически мыслящий человек”, он сейчас ищет связи с комитетом “Свободная Германия”, а вчера еще член гитлеровской партии (в гитлерюгенд и НСДАП с 1933 года).

— Вы богатый человек, — говорю я ему. — Интерес к социализму у вас лишь теоретический? Практически социализм вам не нужен, а членство в НСДАП выгодно?

— Разочарование, — отвечает Герлинг, — наступило уже года через два: обогащение партийных бонз, извращение понятия “социализм”, пропаганда войны, расизма, фюреризм. Жизнь в Германии меня тяготила. Стал директором во Франции, стремился туда. Имел квартиру в Париже и в Дуисбурге и жил по десять дней то здесь, то там.

Внешне все как будто так, но можно ли верить в столь быстрое изменение психологии?

Из захваченных документов 542-й дивизии — “Руководящие указания офицерам-членам НСДАП”:

“...вражеские лозунги изобличать, пресекать распространение слухов;

оповещать о зверствах врага, но это не должно, однако, вызывать у войск и прежде всего у населения испуга;

удар по безразличным, трусам и сомневающимся.

Исход войны решают наша твердость и решительность, так как они требуют от врага таких усилий, которые он не сможет сделать иначе, как ценой военного и хозяйственного самоубийства”.

Приводится выдержка из речи Александрова в Москве 21.01.45, где он призывает быть беспощадными к гитлеровским кровопийцам, людоедам и т. п. Использовать для разжигания ненависти к русским.

Советизацию Польши использовать для внушения солдатам представления, что несет Красная Армия Германии.

Дезавуировать агитприемы противника на участке дивизии.

Этот материал я отправил И. Эренбургу. Был опубликован в “Красной звезде” 08.03.45.

Среди документов, захваченных в штабе 252-й пехотной дивизии, приказ Гимmlера, главнокомандующего армейской группой “Висла”:

“От населения в возрастающем количестве поступают жалобы, что немецкие солдаты грабят дома, покинутые жителями, разворовывают имущество бедных людей. Такого рода постыдные действия должны быть прекращены, чтобы поддерживались дисциплина и порядок. Грабителей следует немедленно расстреливать (далее — пространно о „заповеди порядочности” от человека, руководившего уничтожением миллионов ни в чем не повинных людей. — П. Р.). Непреклонная воля армейской группы и подчиненных мне армий должна быть направлена к тому, чтобы местность, попавшую в руки русских, освободить и взять под защиту немецкой армии”.

К приказу Гимmlера командир дивизии издал “Заповедь порядочности”. “С некоторых пор лицо войны изменилось... мы принуждены воевать на немецкой территории. Этот факт заставляет нас рассматривать поведение в отношении гражданского населения и его собственности в ином свете. Если, несмотря на наше рыцарство и в основном порядочное отношение к гражданскому населению в стране врага, нельзя было временами избежать некоторой жестокости, то по отношению к нашему собственному населению этот способ обращения применяться не может и не должен...”

Лицемерие каннибалов! Как не вспомнить, что творили немцы на захваченных территориях, которые мне довелось пройти, освобождая нашу землю! Могу ли я забыть то, что творили немцы в Смаглеевке? С лейтенантом, который неудачно выстрелил в себя и остался жив. С девушкой-лейтенантом на глазах обезумевших родителей. И это называют “в основном порядочным отношением”, проявлением “некоторой (!) жестокости”, которой, оказывается, “временами невозможно избежать”.

21 февраля. Ефрейтору Эвальду Брумму 19 лет. Отвечает ученически деловито на все мои вопросы. Выглядит мальчишкой: белобрыс, курнос, близорук. После основного допроса спрашиваю: “Как вы думаете, что ждет вас?” — “Не знаю”. — “Как поступают немцы с военнопленными?” — “Их расстреливают офицеры”. — “А солдаты?” — “Некоторые тоже. Если пленного и доведут до батальона, там убьют офицеры”. — “Что вы думаете о нашем плене?” — “Вероятно, у вас так же”. — “Значит, вы полагаете, что я вас сейчас расстреляю”. Задумывается и говорит: “Нет”. — “Почему же?” — “Ведь вам нужны рабочие”. — “И вы считаете это единственной причиной?” — “А что же еще?” Ничто другое ему, по-видимому, не доступно. Хотелось сказать: “Мы не немцы”.

Унтер-офицер Груссхабер, радист, из Торна. Судя по фотографии, человек обеспеченный. Его невеста недурна, шикарно одета, в отеле высокогорного курорта на террасе, на лыжах; в купальнике; и она же нагая. “Кто это?” — “Моя нареченная”. — “Это считается приличным?” Мнется. У него с собой масса всякой всячины, особенно много презервативов. “Зачем вам так много?” — “Менял на сигареты”. Его слова: “Мы воспитаны на послушании, исполнении приказов”. — “Чей же приказ вы выполняли, сдаваясь в плен русским?” Молчит...

5 марта. У Роберта Улемана несколько наших мятых листовок. “Откуда?” — “Давал читать товарищам, я коммунист”. Далеко не первый случай слышать такое. “Я был осужден на полтора года”. — “Только?” — “Не было доказано. Я был осторожен, говорил с глазу на глаз”. Обер-ефрейтор Франц Риттер тоже перебежчик. “Хотят ли другие перебежать?” — “Мой сосед по ячейке тоже побежал, но его обстреляли”. — “Как его фамилия?” — “Улеман. Он был коммунист. Уговаривал нас переходить. Вероятно, он ранен и не дошел”. Через пять минут я ввожу Риттера в помещение для пленных, и однополчане бросаются друг к другу. Невероятно, но приходится чему-то верить!

Хорста Децембовского нашли в Либихове под периной, переодетого в штатском. “Вы солдат? Почему переоделись?” — “Война проиграна”, но на допросе врет, несет чушь. Меня обозлило его явное вранье. “Нас всегда учили, что в плену надо обманывать”. Но потом говорит правду.

6 марта. Ефрейтор Франц Туфке видел, как командир 542-й дивизии генерал Леврих расстреливал отставших солдат. Дивизия приобрела славу “дивизии выстрела в затылок” (Genickschussdivision).

Девочка-немка, встретив нашего офицера, вскинула руку и воскликнула: “Хайль!” Выработанный рефлекс. Точно так же пробывший два года в плену русский при входе в комнату поднимает руку в фашистском приветствии.

Среди документов — “Копия. Командир 12-й авиаполевой дивизии. Командный пункт 11.03.45. Обер-лейтенант Ридельбауэр, командир роты, допустил советского представителя призывать роту к переходу. Он не вмешался, даже когда увидел, что некоторые его люди последовали этому призыву, и сам дезертировал. Был пойман в двух километрах за передовой. Он приговорен военным судом к смерти. Я утвердил приговор.

Из-за него погибли честные солдаты... Я буду с беспощадной жестокостью пресекать все случаи трусости... Это мой долг... Довести до сведения всех солдат, включая обозы. Вебер”.

25 марта дивизия подошла к Данцигу, наши части завязали уличные бои. Противник отчаянно сопротивляется, но уже в первый день много пленных. Из доставленных на наш пункт только перебежчиков 26. Едва успеваешь переписывать. Перебежчики продолжают поступать. Общий смысл показаний и причин: “Воевать нет смысла. Это конец...”

В аларм-полк Бринкмана передано 16 человек из 2-го штрафного батальона, которым было предоставлено право ношения оружия.

Командующий 2-й армией Вайс снят за мягкость. Назначен Заункенд.

Из 25 человек саперного взвода 24-го пехотного полка 13 спаслись в плену, остальные ранены и убиты.

Пленный лейтенант Людвиг Шейк мог отсидеться и спрятаться в большом городе. “Зачем? Сегодня или завтра, какая разница? Все офицеры считают, что расстрел в русском плену (для офицера) неминуем”. — “Почему же не застрелились?” — “Маленькая надежда все же была”. Поступающие в войска полицейские роты чиновничье ополчение не успевают передавать в основные части. Полная неразбериха.

Таможенный чиновник дрожащим голосом уверял меня, что его форма только сходна с военной, просил не спутать. Боится расстрела.

Все это свидетельствует о глубоком разложении и деморализации. Казалось бы, так. И все же штурм Данцига и уличные бои в центре города продолжались неделю. Да, были пленные, были перебежчики, были повешенные немецкими начальниками трусы и паникеры, но в целом немцы дрались, что называется, “на смерть”, хотя их положение было безнадежным, и это не могли не понимать солдаты и офицеры. Бои шли за каждый дом, сопротивление было яростным.

Нам известно, что незадолго до подхода наших войск к Данцигу город посетил начальник гестапо Гиммлер, командующий войсками группы “Висла”. Он приказал вывезти на кораблях раненых и жен офицеров, а самих предупредил, что ни одного судна в гаванях не оставляет. Приказал обороняться до последнего патрона. В случае сдачи города уцелевших ждет казнь в гестапо.

Солдаты и офицеры, как мы видели в Данциге, не прекращали сопротивляться ни днем, ни ночью. Не знали отдыха и мы.

Наш штаб 44-й дивизии расположился в подвалах данцигской бойни. В разгар боев мне привели несколько пленных. Они оказались связистами штаба новой для Данцига дивизии. Такие пленные для переводчика “клад”. По их документам, а у них были не только солдатские книжки, но и данные телефонной и радиосвязи, можно было получить не только ценные сведения, но и дезинформировать противника. Пара часов перекрестного допроса привели к неоспоримому выводу, что дивизия пришла именно сегодня, вышла из жаркого боя, шла через оставленные немцами населенные пункты и приняла бой на улицах Данцига.

Переводчик должен быть уверен в точности полученных данных, в их надежности. От докладов военного переводчика в известной мере зависит правильность принимаемых решений. В “известной мере” потому, что в штабе сопоставляют данные допросов и документов с данными других видов разведки: наблюдениями, авиаразведкой, данными соседей... Многого зависит не только от искусства переводчика, но и от искренности допрашиваемых. Очевидная обреченность приведенных ко мне пленных помогла добыть от них нужные данные. Но ответа на важный для дела вопрос: “Какова цель переброски дивизии в Данциг?” — я не мог от них добиться и побежал докладывать о полученных сведениях.

— В Данциге новая дивизия? — переспросил начальник штаба. — Откуда? Зачем? Доложите комдиву.

Генерал Борисов выслушал меня еще более недоверчиво:

— Ты понимаешь, что говоришь? И в Кёнигсберге, и в Данциге немцам уже нечем воевать, а у тебя какая-то новая дивизия. Откуда?

Я высказал лишь предположение, что начальники двух гарнизонов могли совершить обмен по косе и этим обмануть нас и одновременно подбодрить солдат.

— Иди к шифровальщикам и включай в сегодняшнюю разведсводку. Посмотрим, отразят ли это в армейской сводке.

А через два дня командующий армией генерал Батов (в составе его армии была наша дивизия) сказал по телефону Борисову: “Передай своему переводчику, что он молодец”.

“За образцовое выполнение приказов командования”, как писали в наградных листах, я был награжден орденом Отечественной войны II степени, который считался несколько выше ордена Красной Звезды, полученного ранее.

29 марта Данциг пал. Дивизия готовится к большому маршу на запад, к Одера, к последней битве войны — битве за Берлин.

Большую половину апреля мы на марше.

19 апреля. Уже виден Штеттин. На подступах лес на холмах. Из незнакомых вязов и грабов. Лес без листьев. Только рябина совсем зеленая. Сквозь опавшие листья торчат стрелки травы, цветут фиалка и подснежник. И так это не вяжется с пулеметными очередями, доносящимися с передовой. Вокруг палатки, шалаши. Пасутся кони. Вдруг через холмы пробегает коза. Белая с грязным подхвостьем. Прыгает, скрывается за холмом, и тогда слышны выстрелы, как будто коза подала: “Огонь!” Смешно, но только на мгновение.

25 апреля. У ефрейтора Фрица Падлех в бумагах листок с перепечатанным предсказанием Свена Греена (предсказание попадалось мне еще в январе). Ефрейтор почему-то стыдится его и с грустью прячет в кармане.

26 апреля. Пленные, захваченные уже на западном берегу Одера. Они уже знают о боях в Берлине. И все же есть среди них такие, кто верит рассказам офицеров, будто Америка заключила перемирие с Германией и скоро положение изменится к лучшему.

“Вы верите в это?” — спрашиваю одного. — “Нет, я давно ничему не верю”. — “Как давно?” — “После Курска и потери Днепра”.

Уходя из оккупированных государств, немцы объявляли местных этническими немцами, зачисляли в национальные формирования, присваивали им эсэсовские названия, а затем вывозили в Германию. Один из них пленный 69-го полка эсэсовской дивизии “Валония”. Его фамилия — Турчанинов, имя — Макс. Он худ и мелковат. Уже полгода солдат, хотя он 1929 года рождения. Мобилизован в Бельгии. Отец его русский — капитан царской армии, женат на бельгийке. У Макса сестра 13 лет и брат 8 лет. Отца увезли в Германию, и он там работает. “Когда ваш отец приехал в Бельгию?” — “В 1920 году”. — “Как он относился к революции?” — “Дома не говорили о политике”. — “Хотел он вернуться в Россию?” — “Конечно! После изгнания большевиков”.

29 апреля. Мы стремительно продвигаемся к Росток, к Балтийскому побережью. Чувствуется близость победы. Но наша работа остается такой же, наши данные по-прежнему интересуют штаб дивизии.

Привели пленного подполковника, такая птица в моей практике редкость. Родился Альберт Эльшлегер в конце прошлого века. Воевал в 1914–1918 годах солдатом. В 1927-м вернулся в армию, решив стать кадровым офицером. Просьбы послать на фронт не приводили ни к чему: болезнь желудка. Капитана, а затем майора Эльшлегера использовали на штабной работе и преподавателем в офицерской школе. Лишь в январе 1945-го уже в чине подполковника Эльшлегера назначили командиром 85-го пулеметного “М”-батальона. “М” — начальная буква слова “желудок” (Magen); так сказать, батальон “желудком мающихся”. “Они не больные, — спохватывается подполковник, ему, по-видимому, стыдно, что он командовал вечно просившимися “до ветру” солдатами, — они только не могли делать больших переходов”. Я думаю про себя: что уже можно было ждать от такого воинства? И все же подполковник держится как истинный пруссак.

На вопросы о группировке, фамилиях командиров, численности, вооружении дает уклончивые, бессодержательные ответы. Но подсказанный ответ подтверждает, что нам все известно.

Разговор переходит на общевоеенные темы, на политические цели войны. Он уверен, что эта война не последняя: “Будет еще война между Россией с одной стороны и Англией и Америкой с другой. Англия всегда и всем мешала. Почему Россия не имеет открытых портов, почему не взяла Константинополь? Англия никогда не воюет один на один, но всегда вмешивается во все войны. В Европе есть только две силы — Россия и Германия. Лично я был и остаюсь сторонником связи с Россией”. Его рассуждения смешны, учитывая обстановку, в которой он рассуждает, он забывает, что он пленный. Создается впечатление, будто он ищет во мне союзника для будущей войны с Англией. Возвращаю его к действительности: “Кто же виноват в этой войне?” — “Политики. Во всяком случае, военные в этом не виноваты”. Опять показываются уши пруссака.

Здесь, по существу, конец дневника. На этом кончается последняя военная запись.

Наша дивизия практически воевала еще два дня: в первых числах мая 1945-го мы заняли уже без боя курортный городок Барт к востоку от Росток на побережье Балтийского моря. Война для нас кончилась, мы праздновали Победу за неделю до официальной капитуляции гитлеровской Германии. Вместе с нами разместился и штаб 65-й армии, которой командовал прославленный генерал Павел Иванович Батов.

В последние дни военных действий записи были редки, пленных приводили толпами, их только пересчитывали. Я был по горло занят обработкой документов и отправкой их в корпус. Было не до дневника.

Через месяц дивизию двинули на восток — за Одер, в Польшу. По пути (2–4 дня) записал несколько впечатлений.

2 июня в Гриммене слышал фразу одной немки: “Поверьте, фрау Гартвиг, через шесть недель здесь будут англичане”. (Это в то время, когда в среде наших офицеров еще не остыло желание продолжать наступление до Парижа.) В Гриммене видел, как немки по своим обычаям скребут мостовые и моют стены домов. Чистота. Много зелени.

3 июня прошли Анклав — большой город, сильно пострадавший, но и в нем целые улицы вымыты. Поражает, что во всех домах вместо умывальников — таз и кувшин. Странная традиция, учитывая, что есть водопровод.

4 июня — Пазевальк — город развалин, немцы растаскивают кирпичи. Но... это уже не война. К запискам переводчика не относится.

Что же представляют мои заметки? Все это мои переводы протоколов, документов, писем. Сами тексты пересылались в разведотдел корпуса или армии. Все это человеческие документы. Свидетельства сохранившейся веры в гений Гитлера, в возможность “чуда” от применения секретного оружия, в возможность возмездия. За что возмездие, этого никто объяснить не мог. Жалобы на тяготы войны: от пленных — на ухудшение снабжения, от семей — на страшные “террористические” воздушные налеты и на недоедание. И вместе с тем просьбы прислать сала или привезти тот или иной трофей. Письма родных в карманах рядом с порнографическими картинками и талончиками из борделей о проведенной санации. В документах и письмах — пропаганда расизма и антисемитизма, оправдания войны с Советами, примеры глубины достигнутого пропагандой оболванивания. Портреты фашизированных молодчиков, иронически воспринимающих пропаганду немолодых интеллигентов и просто примазавшихся. “Онемеченные” поляки, эльзасцы, зашивавшие в подкладку французские флажки, австрийцы, понявшие ошибку аншлюса, и немцы, немцы, немцы: эсэсовцы, простые солдаты, офицеры, фольксштурмисты, тотальшики (больные, старики, юнцы). Уверенные в предстоящем расстреле, а потому безразличные либо перепуганные до “медвежьей болезни”. И вперемежку с ними уверенные, что их оставят жить (“Вам нужны рабочие”), и даже наглые (от прусского превосходства или с испугу).

Не было только одного: ни разу (пусть притворно) не было высказано осуждение гитлеровского нападения на советский народ или сожаления, что пришлось в нем участвовать. Только попытки “умыть руки”: “Вы можете поверить мне, господин офицер, я ни разу не брал в руки оружие”.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Публикуемая небольшая часть “Записок” Павла Михайловича Рафеса вызвала во мне и мои воспоминания военной поры. В конце войны я воевал в рядах той же 65-й армии, что и автор “Записок”. Весь путь от Пултусского плацдарма на Нареве до Ростока и Барта на Балтийском побережье я прошел в рядах этой армии в должности начальника штаба бронетанковых войск. Населенные пункты и городки, упоминаемые автором “Записок”, врезались в мою память. Насельск, Плоньск, Яблоново, Рыпин, Бродница, Швец, Данциг, форсирование Одера — вехи не только боевого пути 44-й гвардейской дивизии, но и

танковых войск армии. Если не о каждом из этих мест, то о большинстве мог бы рассказать. Но остановлюсь на послепобедном событии, случившемся со мной в том самом Барте, в котором мы с автором “Записок” оказались волею судьбы вместе, совершенно не подозревая, что через год мы познакомимся в Москве и станем близкими людьми, а через много лет я буду готовить к печати фронтовой дневник своего покойного тестя.

2 мая победного года комендант Барта указал мне особняк для размещения моего штаба. После бессонных ночей мы могли наконец отоспаться. С ординарцем Ваней Чигиревым пошел осматривать наше новое пристанище. Двухэтажный особняк был мрачен и казался безлюдным. Освещая путь фонариком, мы осматривали комнату за комнатой и закутки. В одной из дальних комнат мы увидели свет, пробивавшийся из-под двери. Резко открываю дверь. Взору представляется идиллическая картина, так не вязавшаяся с представлением о поведении побежденных в трагические дни их полного поражения, национального позора и всеобщего страха перед ожидавшим их заслуженным возмездием.

За столом, покрытым белоснежной скатертью, уставленным скромной едой военного времени и вином, — большая немецкая семья. Во главе стола восседал толстый красноротый фельдфебель в полной немецкой форме, как будто сошедший с нашего агитплаката “Убей немца!”. При виде меня он вскочил, щелкнул каблуками и начал что-то скороговоркой рапортовать. Мобилизовав свои незначительные возможности в немецком языке, я понял, что он прощается с семьей перед уходом в русский плен и просит разрешения побыть с близкими еще полчаса. Злость у нас уже шла на убыль, хотя и не вселилось еще всепрощение. Я разрешил ему остаться, а потом Ваня Чигирев отвел его на пункт сбора пленных.

Наутро я нашел в письменном столе “фельдфебеля” (в действительности он оказался жандармским офицером) шесть небольших фотографий. За делами мне недосуг было их рассматривать. Обратил только внимание на дату — июль 1941-го. Указано и место съемок — Беловоды. Фото, сделанное врагом в самом начале войны, надо сохранить. Так эти маленькие “фотки” попали в мой планшет. Позже, когда появилась возможность, я разглядел их пристальнее.

Первая чуть не рассмешила меня. На ней были запечатлены ноги в лаптях. Только ноги. Видимо, фотограф был охотник до российской экзотики. Потом я с горечью подумал: “Почти четверть века советской власти, а наши люди все еще носят онучи и лапти”.

На второй — разбитая полуторка, героиня российского бездорожья, труженица, которую нередко приходилось дружно вытаскивать из непролазной топи фронтовых дорог, машина, на которой мы пришли в Европу.

Четыре женщины-колхозницы среди лета в тяжелых зимних платках, на снимке улыбаются. Чему? Может быть, тому, что их впервые в жизни фотографируют, и они не представляют, что ждет их впереди? Может быть, тому, что пришельцы пока милостиво разрешили им жить? И еще я подумал: сколько сил было отдано в предвоенные годы, сколько трудовых денег вложено в оборонные займы, сколько принесено жертв, чтобы не оплошать в неизбежной схватке с фашизмом! И горечь при мысли, что мы не смогли уберечь этих белорусских крестьянок, отдали на поругание и смерть, так же как и миллионы наших солдат, конвоируемых в плен, как в скорбной колонне на другом снимке, комок подступала к горлу.

Не смогли защитить и этого старого еврея, который с упреком смотрит на меня с другой “фотки”. Миллионы его и моих соплеменников, граждан нашей страны не по нашей ли вине попали в лапы фашистов на надругательство и смерть в газовых камерах? Глядя на маленькую фотографию, я рисовал в своем воображении печальную картину последних часов этого несчастного старика. Кто он был? Ремесленник, часовщик или сапожник, портной или скорняк? А может быть, он был учителем русского языка? Была же моей учительницей Ревекка Яковлевна Гриншпун, три года учившая меня в начальных классах русскому языку и арифметике. И те самые люди, которым старый еврей с фотографии чинил часы или подбивал каблуки, шил им пальто или учил их детей, гнали его по улицам местечка с улюлюканьем и бранью. А он, удирая, надел на себя теплое пальто, надеясь, что ему суждено будет дожить до холодов. И вот он, истерзанный и жалкий, предстал перед объективом немецкого офицера. А я держу в руках его фотографию, и руки мои дрожат.

Вот что досталось мне в первый послепобедный день от немца, которому я подарил полчаса для прощания с семьей. Я не жалею об этом. Но всякий раз, когда я сталкиваюсь с проявлениями шовинизма и ксенофобии, с каннибальскими призывами зоологического антисемита в генеральской форме, я вспоминаю маленькие фотографии 1941 года. Неужели они хотят вернуть те времена?

Подготовка рукописи к печати, вступительная заметка и послесловие П. З. ГОРЕЛИКА